
Даур Начкебиа

Рассказы

С абхазского. Перевод автора

Сказка

Жили-были старик со старухой...

— Пойми, они пришли убить нас.
— Ты в своем уме? Что значит, убить, за что?!
— Раз пришли, другого выхода у них нет.
— Чтoб убивали невинных — такого я что-то не слыхала! И потом они ведь наши!..

К шесту, на котором была закреплена антенна, старик приладил другой такой же и поднял конструкцию как можно выше.

— В целoе состояние обошелся нам твой телевизор, да так вот и будет стоять в углу и собирать пыль?! — ворчала старуха.

Она с самого начала была против: с их курами-индюками, коровами-телятами, огородом-садом — есть ли время паяться в экран!

— На старости лет мир посмотрим — хотя бы по телевизору, долго ли нам еще топтать землю? — разжалобил ее старик, и она согласилась. Пришлось загашник, годами копившийся с пенсии, выпотрошить, причем изрядно — что еще оставалось, ведь нынче все так дорого.

Многое знает и понимает тот, кто многое пережил. Может, и старится человек, зная и понимая больше, чем нужно? Старик был как раз из таких, — и хотя тело его все еще подчинялось уму, но сердце в нем было сдавлено и скукожено холодом существования и давно уже истосковалось по тишине, по забвенью.

Телевизор не заработал как надо. Если покрутить шест с антенной в разные стороны, то либо изображение появится, либо звук, но чтобы они собрались вместе — такого не бывало.

Начкебиа Даур Капитонович (р. 1960) — абхазский писатель, публицист, издатель, государственный деятель. По образованию физик, окончил Тбилисский государственный университет. Автор сборников рассказов «Предчувствие» и «Дерево», романа «Берег ночи», книги публицистики «Лицом к лицу». Проза переведена на английский, армянский, грузинский, испанский, сербский, хорватский и др. языки. Живет в Сухуме.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2019, № 10.

Они жили в ущелье, вдалеке от села. Из-за плохой дороги и отдаленности автобус до них не доходил, изредка самое необходимое — мыло, спички, соль, керосин — они закупали в сельмаге. И в этот раз он сел на свою клячу и потащился в село за монтером. А тот объяснил, что сигналам прорваться до их антенны мешают горы, что они, сигналы, отражаются от склонов и рикошетом уходят в небо. Надо поднять антенну повыше, тогда она заарканит побольше сигналов и гуртом загонит их в телевизор.

«Видать, горло у нашего ущелья узкое, надо бы антенной расширить его», — по-своему понял старик.

Когда старик со старухой очнулись, их выволокли и заперли в передней комнате.

Как-то утром к воротам на двух джипах с открытыми верхами подъехали военные. Они мигом выпрыгнули из машин, распахнули ворота и ступили во двор. Старик, увидев их, оставил скотину и пошел навстречу, но не успел и рта раскрыть для приветствия, как его саданули прикладом по голове, и он со стоном повалился на траву. Старуха все это видела, она вскрикнула и рванулась к старику, но и ее тоже уложили прикладом автомата. Двое, держа оружие наготове, встали у дверей, двое забежали в дом, остальные настороже двинулись в сад, огород, коровник...

Оба водителя не шелохнулись в джипах. В переднем — некоторое время сидел без движения и некий человек в темных очках, потом вылез, неторопливо зашел в ворота и двинулся к дому. Он был без автомата, только рукоять пистолета торчала из кобуры на поясе.

Он подошел к лежащему на земле с окровавленным лицом старику и навис над ним.

— Их подозрение вызвала поднятая антенна. Говорят, я — шпион. Оказалось, в большом мире идет война, а мы и не знали.

— Боже праведный! И что ты им ответил?

— Отрицал, конечно, но кто бы меня услышал...

— Вот и сон в руку. На днях приснилось, будто мутная жижа залила наш двор.

— Так и есть: влипли мы, да еще как влипли — по самое горло. Ума не приложу, как выпутаться из этой передраги.

Крепко сбитые, похожие друг на друга, будто их одна мать родила, все с одинаковыми каменными лицами и холодом в глазах... Командир — еще крепче, еще каменнее и еще ледянее, казалось, на кого посмотрит, тот промерзнет насквозь. И все же в его лице было больше жизни, оно выражало внутренние движения, — или он умело притворялся. Сейчас на его лице было написано недовольство: не время возиться с этими стариками, есть дела поважней.

Заговорил, и стало понятно — ледяной облик лишь маска; голос — как у нормального человека, даже с теплотой, а не с металлом, как думалось.

— Лучше бы мы ничего не слышали, ничего не знали, ничего не видели. Жили бы дальше в своей глухомани...

— Не дал ты нам помереть спокойно!

Перерыли весь дом, осмотрели каждый угол, опрокинули кровати, из шкафов выгребли одежду, постельное белье и побросали на пол, посуду раскидали и перебили. Столь же тщательно осмотрели все вокруг дома: двор, амбар, коровник, винный погреб, заглянули даже в нужник.

— Война и так одно сплошное безумие, почему же в том, что мы делаем, ты ищешь смысл, старик?

- Я тоже когда-то воевал...
— Тогда войны были другие, не то что сегодня...

Здорово натасканы, — думал старик, глядя на них. Даже позавидовал: имей мы в свое время такую подготовку, не погибло бы столько, многие и сегодня были бы живы. А теперь что толку сокрушаться... Какие ребята тогда полегли — вспомнишь, дыхание спирает. Но прочь утешение женщин — жидкое излияние из глаз! Только не это!

Хотя, может, лучше, чтобы душевная мука прорвалась и растеклась по морщинам солоновато-горьковатыми каплями? Только так можно вырвать из сердца тех ребят, навечно проститься с ними — освободить и себя, и их. Но — нет: никакого самоутешения, никакого самообмана. Это слабость, это значит — сдаться. С открытыми, незамутненными глазами...

— Если думаешь, что мне все это нравится и я ничего другого не умею, то глубоко ошибаешься. Я, как и ты, из землепашцев, соху предпочитаю любому оружию — отец с малых лет приохотил к земле. Но в армии из меня выбили все крестьянское и научили вот этому. Надо защищать родину, кругом враги, дадим слабину — раздавят, сказали мне, и я поверил. Что мне оставалось, — ведь кто-то должен служить государству, если все возмутся за соху, наши враги не оставят от нас камня на камне... Я никогда никому не говорил подобного — я смирился со своей судьбой. Тебе сказал, потому что... сам понимаешь, не глупый...

Старик догадался, что он имеет в виду, ему стало не по себе. Это умрет вместе с тобой, кроме своей старухи тебе не с кем будет поделиться, но это умрет и с нею тоже — вот что означали его слова...

Сорока пяти-сорока семи лет, не больше. По виду и столько не дашь — силен, ловок, статен, широкоплеч. Но глаза... Они выдавали его: изнутри он был стар и изношен. Провести старика ему не удалось: в глазах его виделась та же мука, что прежде времени старит, та же, которую он видел в глазах выживших после боя ребят. Когда ты в душе спрошался со всеми и всем, что любил, и готов к смерти, и вдруг тебя выбрасывает на этот берег, и ты выносишь лишь меньшую часть себя, большая уходит на дно, оставив нескончаемую, непреходящую муку в глазах.

— Переночуем здесь, я уже сообщил в штаб. Организуйте перекус и ночлег, выставьте караул — смена каждые два часа. Будьте бдительны — враг может напасть в любую минуту! — строго сказал он, и не понять было, на самом ли деле печется о них или выполняет устав.

Он, последний солдат Великой войны...

— Лучше было бы вам сидеть тихо в своей норе, мир уже не тот, какой вы знали. Червоточина завелась в мире, не сегодня-завтра он рухнет, как сгнившее дерево. Ты ведь мудрый, почему забыл, что во многом знании многая печаль? Зачем вам нужен был на старости лет этот телевизор, гори он синим пламенем! Здесь вокруг такая красота, что и вечность не надоест, а вам этого не хватило...

На следующее утро, едва занимался день, оба джипа стремительно выехали со двора, оставив позади, словно прихваченную льдом, гулкую тишину. В переднем джипе сидел командир, скрывая за темными стеклами очков всегдашнюю муку в глазах. Лицо его, как всегда, было каменным.

Колодец

После войны Баграт решил вырыть колодец: прежний засыпало взрывом пушечного снаряда. Восстановить его было куда проще, чем рыть новый, но хотя вода в нем и была приятна на вкус, после случившегося душа к нему как-то не лежала, словно колодец убило этим снарядом. И он начал копать новый в другом месте. И потом, как знать, вдруг вода там будет еще приятней.

— Совсем из ума выжил. Какой колодец в твои годы, посмотри на себя! — бурчала жена Гулиза.

— У всех свои дела, не до нас им, — сдержанно, не перечая, отвечал Баграт.

— Ведро воды из соседского колодца нам хватит на весь день. А притащить это ведро мы еще в силах. Друзья Аляса, дай Бог им здоровья, поставили большую железную бочку и наполнили ее до краев, на какое-то время достаточно. И что тебе неймется, несчастный, угомонись, тебе разве до того...

Она была права: он слишком стар для таких дел — услышит кто, обсмеют. Каково это, спускаться и подниматься, и не раз на дню, — а суставы скрипят, как несмазанная арба, и кости ломит. Да и до воды не скоро доберешься — в этих местах обычно копать нужно глубоко. Хорошо, ну приспособит он как-нибудь лесенки, составит две-три, чтобы доставать до дна, а вдруг внизу станет не хватать воздуха и он начнет задыхаться? Тогда пиши пропало. Вылезай и ставь крест на всем деле. Стыд и срам. Нужен и помощник — вытаскивать нарытое на-гора. Гулиза отпала сразу — ноги у нее никуда, без палки и двух шагов сделать не может, да и в руках ее нет той прежней ловкости, которая позволяла собирать до ста килограммов чая за день. Оставался Умахь; но какой толк от такой же развалины, как он сам. К тому же Умахь после гибели сына стал сильно на вино налегать, бывает, днями не просыхает. Полное ведро, конечно, он вряд ли осилит, а пока вытаскивает полведра да вывалит содержимое на землю, не умолкая при этом ни на минуту — старик не в меру словоохотлив, — как говорится, у жабы зубы вырастут. Ну и пусть, куда им спешить, теперь у них обоих времени навалом...

От сомнений у Баграта опускались руки, и он, грешным делом, подумывал оставить эту затею. Только жалко, — хороший был колодец, крепкий, аж до самого дна стены были выложены плотно пригнанными друг к другу камнями. Баграт сам обтесал их и сам уложил — в одно засушливое лето, когда злое солнце опустошило колодец, как пьющий опустошает рог с вином, на дне не оставив ни капли. Тогда колодец стал темным, гулким, бесплодным — такого не забудешь. Но все рухнуло. Надо же было именно в него угодить тому проклятому снаряду!

Права Гулиза: надо сказать друзьям Аляса, и те в несколько дней управятся — и будет у них вода. Но... Нет, он сам должен вырыть колодец! Новый! Сам!

— Идите перекусить! — звала Гулиза.

Умахь тут же в дыру: «Вылазь, мамалыга стынет!»

«Нашла время...» — в сердцах ругнув жену, Баграт взбирался по лесенке к свету, на жару, оставив позади сумеречную прохладную глубь. Умахь, ополоснув руки, уже поджидал его в нетерпении на крыльчке. Не успевали сесть за стол, как он тут же опрокидывал стакан-другой вина, буркнув для приличия пару слов, и только потом брался за еду — неспешно, с обычной сосредоточенностью подвыпившего отламывал кусок мамалыги и обмакивал в фасоль.

— Кто за тобой гонится, Умахь, остынь!

— Тебе легко говорить, там, внизу, небось, и не потеешь вовсе, а я здесь весь изжарился на солнце, в горле пересохло, жажда мучит!

После полудня работа шла вяло, не то что с утра. Уамахя от выпитого развозило. Пока Баграт не окликнет, он и не поинтересуется, наполнено ведро или нет, не пора ли вытаскивать. Сидит себе, небось, на пенечке в тени под черешней и клюет носом. Окликнет его Баграт — всякий раз в ответ слышалось полусонное бормотание: «Хай-хай, в чем дело?!» Или он притворялся? Долго поднимал ведро, еще дольше опорожнял. А потом, слишком ослабив веревку, чуть ли не бросал ее в колодец, и Баграту то и дело приходилось уворачиваться от летящего на него ведра. Словом, Уамахь делал все абы как, без старанья, спустя рукава.

Баграту это надоедало, и он вылезал.

— На сегодня хватит, Уамахь, иди домой, отдохни.

Уамахь вскакивал, подбегал к дыре, заглядывал внутрь:

— Знаешь, мы неплохо поработали, завтра наверняка закончим!

А до вечера вон еще сколько, немало бы успели, да...

«Чтобы вот так: все беды — и скопом на одного...» — Баграту хотелось иногда погоревать о судьбе, но что-то удерживало. Он вспоминал о других отцах, чьи сыновья тоже погибли, и тогда сердце унималось, и неотступная боль немного отпускала, как если бы кто-то другой разделил ее с ним. «Скольким же матерям и отцам проклятая война омрачила старость, и не счесть, не я один такой. Ну что ж, придется и дальше с этим жить, до последнего...»

Но, когда Баграту на ум приходил Уамахь, ему казалось, что все это самообман, поиски утешения и хватание за соломинку. О других, подобно ему, потерявших своих сыновей, он знал больше понаслышке, лишь изредка некоторых встречал. А Уамахь каждый день был перед глазами — ближайший сосед. Ближайший-то ближайший, но близким не стал: Баграт всю жизнь его недолюбливал. Точнее — презирал, в грош не ставил. Не то чтобы тот насолил ему чем или какая-то кошка пробежала меж ними. Просто более непутевого человека, чем Уамахь, надо было еще поискать. Никудышный, пустой. (Жена у него была толковая, работящая, весь дом держался на ней.) О семье и хозяйстве Уамахь и не думал, с утра до ночи только и знал, что шлялся по селу в поисках, чем бы горло промочить, — только тем и пробавлялся: питоком он был слабым, примет на грудь пару-другую стаканов вина или рюмок крепкого, — и тут же его развозило. Тогда он бывал особенно смешон и жалок: еле стоит на ногах, а лезет на тебя с кулаками. Словом, дебошир, буян, как многие коротышки. С Багратом они не раз схлестывались, особенно в молодости. Уамахь припоминал несуществующие старые обиды, обвинял Баграта в надуманных грехах. Но с годами оба поостыли, не тот уже был запал. Баграт многое прощал Уамахю только ради его жены. (Бог смиростивился над ней, забрал ее за год до войны, не увидела гибели сына.)

Сосед, куда его денешь, — надо терпеть. Не опускаться же до него, скажут: это не пристало достойному Баграту. И опять тот будет виноват.

Так и жили, пока их сыновья не погибли вместе в один день.

Баграту не слишком нравилось, что их дети дружат. Лаша, сын Уамахя, рос тихим, спокойным мальчиком, никого собой не обременял — ни родителей, ни соседей, ни школу; был смышлен, заточен на учебу. Бедолага же Аляс, выросший в семье с достатком, был горд и строптив, не со всяким хотел знаться. Что он нашел в отпрыске непутевого и жалкого Уамахя?!

Лаша неожиданно для всех оказался смелым и отважным бойцом, ничуть не хуже его Аляса, и при этом добрым, человеколюбивым.

Он не оставил Аляса одного — вместе погибли. Совсем неподалеку от дома.

Через пару-тройку часов работы сверху раздавался недовольный оклик Уамахя: «Вылазь! Больше не могу! И ты передохнешь». Баграт тоже уставал быстро, и дышать там, внизу, становилось трудновато. Вырыто немало, метров семь-восемь будет, скоро

вода забьет. Измученный, вскарабкался по лесенке и на воздухе переводил дух. Внизу он не потел, а наверху сразу взмокал, приходилось менять рубаху, чтобы не простыть, когда снова спустится во влажный колодец.

Уамахь устроился на пеньке, попыхивает себе самокруткой. Сигареты уже продавались, только на что их купишь, денег нет, надо одалживать. Уамахь знал, у кого можно взять в долг, но зачем, когда у Баграта есть чем поживиться. Во время войны почти весь свой табак, уже завернутый и увязанный для продажи, Баграт раздал ребятам, но немного осталось, самая малость. Уамахь это пронюхал и давай вымогать при каждом удобном случае: «А ну гони свою заначку, мне нравится, как она курится». У самого же — табака отродясь не было: сажать, мотыжить, ломать, сушить — терпенья не хватало.

Баграт осторожничал: на дне у него и так спирало дыхание, а если еще и задымить, каково ему будет? Лучше уж потерпеть.

— Забыл, ты ведь не куришь, — подшучивал над ним Уамахь. — И для кого хранишь? Сам бросил, продать не продашь, а Гулизу поздно уже пристращать.

— Для тебя храню.

— Как бы не так! Я тебя знаю: закончим колодец — конец и вино, и табаку.

Курит его табак, пьет его вино — а все туда же: недоволен.

Кто знает, что взбредет в голову этому черту. Дай только повод — и он сделает ноги не моргнув глазом. А без помощника никак. И Баграт пропускал мимо ушей подколки и подначки Уамаха: «Болтай, болтай, я сегодня в твоей лодке...»

Баграт думал о сыне: «Моя ведь кровь, и от меня что-то в нем было, не могло не быть... И во мне, наверно, есть что-то от него. Но возможно ли такое?»

Вопрос этот мучил его, не давал заснуть.

— Чего не спишь?! — проворчала с соседней кровати Гулиза.

Ей тоже не спится, но виду не показывает. При чужих она охотно говорит об Алясе, а при нем — рот на замке: щадит по-своему мужа, в себе свою боль сдерживает. А ему хочется слышать о сыне, и не только потому, что все вспоминают его добрым словом, — тогда Аляс для него будто живой. Сам он не может первым заговорить о нем — как-никак мужчина, отец, — она не догадывается, остается вот так в одиночку думать о нем, мысленно с ним общаться.

В душе накопилось столько, что и родной жене сложно выговорить, а чужим и подавно. И как сказать, найдутся ли нужные слова, если они вообще есть?

— Что-то кости разболелись...

— Говорила тебе: не сможешь! Еле на ногах стоишь, а вздумал колодец копать, помилуй Бог!

— Мало уже осталось, не сегодня-завтра закончим...

Лишь бы рассвело поскорее, и — за работу. Он должен завершить начатое...

Баграт отложил лопату и посмотрел ввысь. Сужавшаяся кверху воронка заканчивалась черным кружком неба, и на этом небе — невероятно! — мигали звезды. Он и раньше слышал, что со дна глубокого колодца днем, как ночью, можно увидеть звезды, но...

— Уамахь!

— Что стряслось?!

— Глянь на небо.

Уамахь вынул изо рта самокрутку и, прикрывшись ладонью от слепящего солнца, нехотя поднял голову.

— И что?! Небо как небо.

— Видишь звезды?

— Ты часом не тронулся, какие еще звезды?! Не знаю, как у тебя там, но здесь

пока что день! — И добавил потише: — И почему Гулиза молчит, решила голодом нас уморить?! Может, думает, что сегодня пост?!

— Отсюда видны. Если не веришь, спускайся, убедись.

— Точно свихнулся, — тихо, потом погромче, чтобы Баграт услышал: — Что за надобность — спускаться, подниматься! Ночью насмотрюсь. Сиди и гляди сколько влезет, платить не надо.

«Может, и там тоже — свет, невидимый для нас, живых», — горько-сладостное чувство охватило Баграта.

Чем глубже он копал, тем меньше и темнее становился кружок неба над ним, но звезды прибавлялись, поблескивая издалека негасимым вечным светом.

Еще один удар ломом — и сильной, мощной струей забила вода. Будто развязал, освободил ее душу, так долго томившуюся в заточении. Стены колодца уже с полметра были влажными, от них веяло прохладой, вода по капелькам начинала просачиваться, но чтобы так скоро...

Баграту казалось, что под ним огромная подводная река.

Бурлящий поток наполнил его резиновые, со срезанными голенищами сапоги, и ноги оказались в холодной воде. Холодной, но такой живой!..

На этот раз вылезать из колодца ему было тяжелее обычного. Не потому, что пришлось поднимать лопату и лом — их на бечевке уже вытащил Умахь. И не потому, что устал, изнемог. Тяжело было другое. За дни, проведенные там, внизу, его боль немного унялась, отступила — так ему, во всяком случае, казалось.

Он что есть мочи долбил каменистую землю ломом, и с каждым ударом его пронимал страх: а вдруг хлынет вода? прямо сейчас забьет, заклокочет? Но он долбил и долбил...

Наверху его ждет пустота, одиночество, на дне наполняющегося колодца он оставляет все то, чем жил последнее время. Сердце тянулось в темную глубину, к живой воде, не отпускало...

Выпили несколько стаканов вина.

— Ты, Баграт, надо признать, настоящий отец своего сына. Ты совершил такое...

— В одиночку я бы не справился, ты выручил...

— Мое дело маленькое, а ты под землю лез каждый день... Я бы не смог, скажу тебе честно.

— Не стоит об этом, оба мы потрудились на славу...

Из дверей амацурты¹ он видел насыпанный холмик в конце двора. (И тогда точно так же лежала холмиком земля — равнодушная, безразличная.) Рядом темнел провал колодца, пустой, бесполезный, и было не разобрать, жив он или мертв. А сейчас он стал наполняться, вода поднималась все выше и выше, значит, колодец понемногу начал оживать. И когда вода остановится на определенном уровне, в ней отразятся те звезды, которые он видел из глубины, и вновь напомнят о неразделимости земли и неба.

Гулиза, как всегда, приготовила вкусную еду, и Умахь с Багратом, усталые, голодные, уплетали за обе щеки.

— Все это хорошо, но почему у нас с тобой было только по одному сыну?! Почему наши жены больше не нарожали, почему мы шадили их?!

— Бог так распорядился, что мы могли...

— Бог, Бог! Причем тут Бог, если мы сами оказались никудышными!

Выпили еще. Умахь быстро хмелел, и все дурное в нем — обидчивость, озлобленность — уже бушевало в его глазах. Но Баграт в них видел и другое — то, что

¹ Амацурта — хозяйственное помещение.

напоминало ему о собственной боли. Наши боли одинаковы, — с удивлением признался он себе. Значит, они — и Баграт, и Умахь — не такие уж разные, правду сказать, вовсе не разные, а равные, одинаковые...

— И зачем тебе нужен был такой огромный дом? — Умахь и раньше, бывало, напускался на него — наверно, завидовал.

— Надеялся ведь...

— Жадность тебя изводила, жадность! Все было мало...

Это уж слишком, Баграт не намерен был спускать такое хамство:

— Не бузи и молча ешь что дали, так лучше будет, — сказал он, не показывая обиды и пытаясь все обратить в шутку.

Но Умахь уже — впрочем, как и прежде — был не в состоянии оценить шутку. Он перестал есть, зло зыркнул на Баграта, потом взял стакан вина, поднес к губам, но, не отпив и половины, с силой стукнул им о стол; вино расплескалось и обагрило скатерть.

— Ни вина твоего не хочу, ни тебя знать не хочу! — вскочил и метнулся к дверям.

— Чтoб вы оба сдохли, совсем одурели! — сказала в сердцах Гулиза, подметавшая крыльцо амацурты.

— Вернись! — крикнул вслед пересекавшему двор соседу Баграт, выйдя за ним.

Умахь, не оборачиваясь, решительно двинулся к калитке.

— Вернись, говорю, слышишь?! — чуть резче крикнул Баграт, давая понять, что больше не позовет самодура.

«Весь отдался горю, бедняга, — думал Баграт. — Вроде немного выпил, а расчувствовался...»

Плут Умахь не мог не понимать, что, заартачившись, он наверняка лишится в будущем и вина, и табака, но тем не менее уходил все таким же уверенно-непримиримым шагом, ни разу не обернувшись.

Баграт дошел до калитки, но не вышел за нее, а встал, опершись о перекладину. Разобрать брань Умаха отсюда он не мог, но то, что она относится к нему, Баграту, было и так ясно.

Умахь шел, не сбавляя хода, хотя ноги заплетались. Он все ругался, махал руками, то и дело останавливался, смотрел по сторонам, будто выискивал что-то или кого-то, иногда вскидывал голову к небу, словно желая определить, какая будет погода. Но ни разу не обернулся.

«Как он сказал? Ты отец своего сына?..»

— Куда денешься, дурень, завтра же прибежишь ко мне! И табачка захочешь, и винца... — негромко произнес Баграт, поняв, что Умахь уже не обернется, тем более не вернется. Потом добавил еще тише: — Пей сколько пожелаешь, кури сколько душе угодно — мне для тебя ничего не жалко, родной ты человек, ничего не жалко...

Так и стоял он, опершись о калитку и глядя вслед удалявшемуся в сумерки Умахю, и по его щекам катились теплые и очень живые слезы...